ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

ИВАН

ИЛЬИН

ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ ХАРАКТЕР



ПСИХОЛОГИЯ ВЕЛИКОРОССА

СЕРГЕЙ

БУЛГАКОВ

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Николай Александрович Бердяев
Сергей Николаевич Булгаков
Константин Николаевич Леонтьев
Георгий Петрович Федотов
Василий Васильевич Розанов
Николай Онуфриевич Лосский
Алексей Федорович Лосев
Иван Александрович Ильин
Борис Петрович Вышеславцев

Что такое русский характер. Психология великоросса

Серия «Философский поединок»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73029643
Что такое русский характер. Психология великоросса / Ильин И.А., Булгаков С.Н.: Родина; Москва; 2025
ISBN 978-5-00222-953-6

Аннотация

«Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил», – говорит Дмитрий Карамазов в знаменитом романе Ф.М.

Достоевского. Это высказывание Достоевский относил в первую очередь к русскому человеку, русскому народу, в характере которого сочетаются возвышенные и низменные черты, святые и греховные.

Загадки русского характера всегда привлекали внимание ведущих российских мыслителей: в данном сборнике об этом рассуждают Иван Ильин, Сергей Булгаков, Борис Вышеславцев и другие видные философы конца XIX – XX века. Книга дополнена также анализом «психологии великоросса» – связи русского национального характера с историей и географией России, – сделанным известнейшим историком В.О. Ключевским.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Вступление 7
К.Н. Леонтьев 11
В.В. Розанов 21
Н.О. Лосский 35
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Алексей Лосев, Борис Вышеславцев, Василий Розанов, *Георгий* Федотов, Иван Ильин, Константин Леонтьев, *Николай* Лосский, Николай Бердяев, Сергей Булгаков Что такое русский характер. Психология великоросса

Серия «Философский поединок»



© Авторы, правообладатели
© ООО «Издательство Родина», 2025

Вступление
В.О. Ключевский
Психология великоросса

(из «Курса русской истории». Лекция XVII)

Народные приметы великоросса своенравны, как своенравна отразившаяся в них природа Великороссии. Она часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось. В одном уверен великоросс – что надобно дорожить ясным летним рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным нежданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и зиму.

Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, ли-

хорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии.

С другой стороны, свойствами края определился порядок расселения великороссов. Жизнь удаленными друг от друга, уединенными деревнями при недостатке общения, естественно, не могла приучать великоросса действовать большими союзами, дружными массами. Великоросс работал не на открытом поле, на глазах у всех, подобно обитателю южной Руси: он боролся с природой в одиночку, в глуши леса с топором в руке. То была молчаливая черная работа над внешней природой, над лесом или диким полем, а не над собой и обществом, не над своими чувствами и отношениями к людям.

Потому великоросс лучше работает один, когда на него никто не смотрит, и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам с собой, чем на людях, лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьется некоторого успеха и привлечет внимание: неуверенность в себе возбуждает его силы, а успех роняет их. Ему легче одо-

леть препятствие, опасность, неудачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех; легче сделать великое, чем освоиться с мыслью о своем величии. Он принадлежит к тому типу умных людей, которые глупеют от признания своего ума. Словом, великоросс лучше великорусского общества.

Должно быть, каждому народу от природы положено воспринимать из окружающего мира, как и из переживаемых судеб, и претворять в свой характер не всякие, а только известные впечатления, и отсюда происходит разнообразие национальных складов, или типов, подобно тому как неодинаковая световая восприимчивость производит разнообразие цветов. Сообразно с этим и народ смотрит на окружающее и переживаемое под известным углом, отражает то и другое в своем сознании с известным преломлением. Природа страны, наверное, не без участия в степени и направлении этого преломления.

Невозможность рассчитать наперед, заранее сообразить план действий и прямо идти к намеченной цели заметно отразилась на складе ума великоросса, на манере его мышления. Житейские неровности и случайности приучили его больше обсуждать пройденный путь, чем соображать дальнейший, больше оглядываться назад, чем заглядывать вперед. В борьбе с нежданными метелями и оттепелями, с непредвиденными августовскими морозами и январской слякотью он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели,

воспитал в себе умение подводить итоги насчет искусства составлять сметы. Это умение и есть то, что мы называем задним умом. Поговорка русский человек задним умом крепок вполне принадлежит великороссу.

Но задний ум не то же, что задняя мысль. Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жизни великоросс часто производит впечатление непрямоты, неискренности. Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают, говорят великорусские пословицы.

Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу…

К.Н. Леонтьев
О нашем народе

(из книги «Византизм и славянство»)

…Я, признаюсь, не понимаю тех, которые говорят о семейственности нашего народа. Я видел довольно много разных народов на свете и читал, конечно, как читают многие. В Крыму, в Малороссии, в Турции, в Австрии, в Германии, везде я встретил то же. Я нашел, что все почти иностранные народы, не только немцы и англичане (это уже слишком известно), но и столькие другие: малороссы, греки, болгары, сербы, вероятно (если верить множеству книг и рассказов), и сельские или вообще провинциальные французы, даже турки, – гораздо семейственнее нас, великороссов. Обыкновенно принято, что турецкая семья – не семья. Это легко сказать и успокоиться. Другое дело сказать, что христианский идеал семьи выше мусульманского идеала. Это, конечно, так, и у тех христианских народов, у которых есть прирожденный, или выработанный их историей, глубокий фамилизм, как, например, у германских наций, он и выразился так сильно, твердо и прекрасно, как не выражался дотоле ни у кого и нигде. Чтобы убедиться в этом нагляднее, надо, с одной стороны, вспомнить несравненную ни с чем другим

прелесть семейных картин Диккенса или Вальтера Скотта и с менее гениальной силой у всех почти английских писателей. А с другой – германскую нравственную философию, которая первая развила строго идею семейного долга для долга, даже вне религиозной заповеди. Можно ли вообразить себе великого великорусского писателя, который догадался бы прежде немцев изложить такой взгляд и изложил бы его хорошо, оригинально, увлекательно? Будем искренни и скажем, что это, может быть, грустная правда, но правда.

Что касается до художественных изображений, то пусть только сравнит кто-нибудь самых даровитых писателей наших с английскими, и он увидит тотчас же, до чего я прав. Разве можно сравнить семейные картины графа Л.Н. Толстого с картинами Вальтера Скотта и особенно Диккенса? Разве теплота «Детства и отрочества» может сравниться с теплотою, с каким-то страстным эфическим лиризмом Копперфильда? Разве семейная жизнь «Войны и мира», семейные (весьма немногосложные) идиллические оттенки в произведениях Тургенева и Гончарова равны по обилию и силе идиллических красот семейным картинам английской литературы? Разве можно вообразить себе великого русского поэта, который написал бы «Колокол» Шиллера? Сильны ли семейные чувства (сравнительно с германским, конечно) у Пушкина, у Лермонтова и у самого полумужика Кольцова?

Совсем ли был не прав Белинский, когда над предисловием своим к стихам Кольцова поставил эпиграфом стихи

Аполлона Григорьева:

Русский быт —
Увы – совсем не так глядит,
Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного.

Отчего широкий на все руки «Питерщик» Писемского и угрюмый, пострадавший в семье «Бирюк» Тургенева всем показались в свое время естественнее, правдивее всех ála G. Sand сельских идиллий Григоровича? Григорович знал хорошо язык крестьян, верно изображал многие типы, у него было чувство несомненное, но он попал на ложную дорогу слишком уже доброго и твердого фамилизма, который – увы – в удел великорусу не достался!



Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891)

Константин Леонтьев родился в селе Кудиново Мещев-

ского уезда Калужской губернии. Его отец – дворянин средней руки. Константин Леонтьев учился в Ярославском Демидовском Лицее, а потом – в Московском Университете на медицинском факультете.

Участвовал в Крымской войне, затем работал по линии Министерства иностранных дел за границей. В 1874 году Леонтьев возвратился в Россию, где с 1887 года жил в Оптиной Пустыне. Здесь он принял тайный постриг, после чего переехал в Сергиев Посад, где и умер.

Я знаю, что многим высоконравственным и благородным людям больно слушать подобные вещи; я знаю, что сознавать это правдой тяжело… Быть может, мне и самому это больно. Но разве мы поможем злу, скрывая его от себя и от других?..

Чтобы судить верно общественный организм, необходимо сравнивать его с другими такими же организмами; а рядом с нами германские народы развили в течение своей исторической жизни такие великие образцы аристократичности, с одной стороны, и фамилизма – с другой, что мы должны же сознаться: нам и в том, и в другом отношении до них далеко! Если мы найдем старинную чисто великорусскую семью (т. е. в которой ни отец, ни мать ни немецкой крови, ни греческой, ни даже польской или малороссийской), крепкую и нравственную, то мы увидим, во-первых, что она держится больше всего православием, Церковью, религией, византизмом, заповедью, понятием греха, а не вне религии стоя-

щим и даже переживающим ее эфическим чувством, принципом отвлеченного долга, одним словом, чувством, не признающим греха и заповеди, с одной стороны, но и не допускающим либерального или эстетического эвдемонизма – с другой, не допускающим той согласной взаимной терпимости, которую так любило дворянство романских стран XVII и XVIII вв. и которое у нас хотел проповедовать Чернышевский в своем романе «Что делать?». Роман этот, отвратительный художественно, грубый, дурно написанный, сделал, однако, своего рода отрицательную пользу: он показал впервые ясно, чего именно хотят люди этого рода. И в этих людях сказался отчасти великоруссизм, хотя на этот раз своими вредными сторонами, своими разрушительными выводами. Всякое начало, доведенное односторонней последовательностью до каких-нибудь крайних выводов, не только может стать убийственным, но даже и самоубийственным. Так, например, если бы идею личной свободы довести до всех крайних выводов, то она могла бы, через посредство крайней анархии, довести до крайне деспотического коммунизма, до юридического постоянного насилия всех над каждым или, с другой стороны, до личного рабства. Дайте право людям везде продавать или отдавать себя в вечный пожизненный наем из-за спокойствия, пропитания, за долги и т. п., и вы увидите, сколько и в наше время нашлось бы крепостных рабов или полурабов, по воле.

Слабосемейственность великоруссизма сказалась ярко в

сочинениях наших нигилистов. Нигилисты старались повредить и государству; но в защиту государственности со всех сторон поднялись бесчисленные и разнородные силы, а в защиту семейственности раздавались больше даровитые и благородные голоса, чем поднимались силы реальные, фактические… Я прошу только посмотреть внимательно и бесстрашно на жизнь нашу и нашу художественную литературу.

…Дай Бог, чтобы я был не прав, утверждая, что семейное начало у нас слабо! Я буду очень рад, если какая-нибудь точная статистика докажет мне, что я ошибся, что я слишком пессимист в отношении нашего фамилизма. Но пока мне этого не докажут, я буду стоять на своем и находить, что не только у германских народов и у тех представителей романских, у которых было больше случайного германизма, но и у малороссов, у греков, югославян, у турок даже, семейное начало глубже и крепче нашего.

Я говорю, у турок. Идеал мусульманской семьи ниже христианского; но личный ли темперамент турок, условия ли их общественного развития сделали то, что они очень любят свою семью, свое родство, свой род, свой очаг. У них есть большое расположение к семейному идиллизму.

* * *

Итак, родовое чувство, повторяю, выразилось сравнительно у нас и в семье слабее, чем у многих других; в аристо-

кратическом начале то же самое; всю силу нашего родового чувства история перенесла на государственную власть…

Когда я употребляю выражение «аристократическое начало», надо понять, что я говорю в самом обширном смысле. Я понимаю очень хорошо, что хотят сказать те, которые утверждают, что у нас никогда не было аристократии; но нахожу, что этот оборот речи не совсем правилен; он не исчерпывает явления вполне. Аристократическое начало у нас было (и даже есть), как и везде, но родовой и личный характер у него был (и есть) выражен гораздо слабее, чем во всех западных феодальных аристократиях или чем один родовой в муниципальной аристократии древнеримских патрициев и оптиматов.

Привилегированные люди, единоличная власть, семья, разные ассоциации, общины – все это есть везде, все это реальные силы, неизбежные части всех общественных организмов. Но они разнородно сопряжены и неравномерно сильны и ярки у разных наций и в разные времена.

Так, я не ошибусь, я думаю, если скажу, что в начале развития государства всегда сильнее какое бы то ни было аристократическое начало. К середине жизни государственной является наклонность к единоличной власти (хотя бы в виде сильного президентства, временной диктатуры, единоличной демагогии или тирании, как у эллинов в их цветущем периоде), а к старости и смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало. Смотря по тому,

какой оттенок, какая реальная сила преобладала в том или другом народе, и все другие окрашиваются им, проникаются его элементами…

С самого начала истории нашей мы видим странные комбинации реальных общественных сил, вовсе не похожие ни на римско-эллинские, ни на византийские, ни на европейские. Удельная система наша соответствует, с одной стороны (если смотреть аналогически на начало всех государств, известных истории), той первоначальной, простой по быту и понятиям, отличной от народа аристократии, которую мы встречаем при зарождении всех государств, грубым патрициям первого Рима (и, вероятно, чем-нибудь подобному и у других итальянских народов), германскому первоначальному рыцарству и т. д.

Подвижность относительно места, неподвижность и крепость относительно рода, перевес родового начала и над личным, и над избирательно-муниципальным, которое представлялось народным вечем городов.

Такова была наша удельная система, если ее рассматривать как первобытную аристократию. Она таила в себе, однако, глубокие монархические свойства, именно потому, вероятно, что вне одного рода Рюрика, внезапно столь размноженного, не было никакой другой сильной и организованной аристократии. Самые вечевые конституции наши были, вероятно, так эгалитарны по духу своему, что их отпор централизующей власти не мог быть силен, как только все боярство

выразило вполне ясно и раз навсегда, что оно и не феодально (не слишком лично), и не муниципально, а служебно и всегосударственно. Аристократия наша приняла, наконец, чиновный характер; чиновничество же, со своей стороны, – родовой, наследственный. Служба давала наследственные права. Изгнанное историей из дворянства, из аристократии начало рода разлилось по различным другим составным частям общества, проникло в купеческое сословие и придало духовенству не бывший в Византии наследственный левитизм.

Под влиянием внешних врагов и под влиянием дружественного византизма кровная удельная аристократия пала и перешла, вместе с новыми родами, в это простое служилое дворянство. При всех этих передвижениях и переходах жизнь России разнообразилась, развивалась; креп царизм центральный, воспитанный византизмом, и Русь все росла и все умнела.

Итак, у нас были всегда слабее, чем у многих других, муниципальное начало, родовое, наследственно-аристократическое и даже семейное, как я старался это показать.

В.В. Розанов
Душа России

(из статей «Ответ г. Владимиру Соловьеву» и «Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?»)

«Родная история полна отрицания»… о, мертвые слова, о, недостаток живого смысла: но не полна ли она также и утверждения, и из живого, что видела история, было ли что-нибудь, что говорило только бедное «да, да», и если оно мешало «да» с «нет», разве можно заключать, что оно вечно должно повторять «нет»…

Ни в один из великих отрицательных моментов истории Россия не отрицала своего я, души своей; но только сбрасывала одеяние, становившееся ветхим, неудобным более, не отвечающим своей цели, – иногда, как это было при Петре I, не отвечавшим тысяче мелких дел, которые, однако, нужно было совершить, чтобы не погибнуть от сил, чисто стихийных и грубых. Но вот, не различая, что тело и болит и что платье и рвется, ей предлагается теперь отречься от этой души…

Есть представление о народе нашем как исключительно мягком, «терпимом», неспособном и, в видах ему навязан-

ной репутации, уже как будто и бесправном к самозащите… [Те, кто так думают] не заметили в нем иных, суровых и строгих, черт; и, между тем, именно они в нем главное. Их обманул двухвековой карнавал нашей истории; настал его последний день. и они требуют веселья нестерпимого, огней, вина, наконец, блуда, и, если возможно, в неслыханных формах. Им кажется, «возможно»… Еще день не кончился, их день… последний день, и вот что в безмерном упоении они не хотят сознать, не чувствуют. Между тем, в запертой и еще пустой церкви все изменяется, светлые ризы заменяются черными, на место одних книг приготовляются другие, главные. Еще все молчит; неситесь в веселье своем буйном по улицам, доедайте последний блин, и, если нужно, засыпайте. Но народ, – ударит протяжный колокол, и он необозримыми толпами потянется к храму, где все другое и он сам в нем другой… Новая эпоха, новая эра нашей истории, о, если бы скорее она наступила, если бы, наконец, сгинула с глаз эта улица, эти маски, вино, красавицы, и все, все, за что цепляются только немногие мертвые руки, несколько не сытых еще желудков, неутоленных позывов!



Василий Васильевич Розанов (1856–1919)

Василий Розанов родился в Ветлуге, окончил историко-филологический факультет Московского университета. Был учителем истории и географии в брянской прогимназии,

елецкой гимназии и бельской прогимназии; с 1893 года служил в центральном управлении государственного контроля. В 1899 году Розанов стал сотрудником газеты «Новое время». Примыкал к поздним славянофилам, после 1905 года – представитель богоискательства. Одним из первых выдвинул тезис «о достоинстве христианства и недостоинстве христиан», Революцию 1917 года В.В. Розанов не принял. Последний год своей жизни провел в Сергиевом Посаде.

…Цельность, которую мы так понимаем в индивидууме, не отвергаем совершенно в обществе неорганизованном и признаем вообще во всяком союзе, – более, чем в каком-либо из них, есть в церкви. Она есть вечный союз человека с Богом, только момент, в котором есть наша земная жизнь, часть – и страна наша, и народ, его история, и по нитям которого тянется жизнь каждого из нас, звуча совместно с другими в одном аккорде. Струна порванная сбрасывается с инструмента и заменяется новою; пусть она еще струна, и даже – две коротких с четырьмя концами: здесь и теперь она не нужна, и кто в ней нуждается – пусть подберет ее, но отсюда она должна быть сброшена. Есть совесть, есть грех, есть возмещающее страдание не для лица только; разве эпоха не может быть преступна? Народ, поколение разве не терпит иногда за то, что совершено было иным поколением? Итак, молиться, страдать, размышлять человек может не индивидуально только, но и в собирательном множестве своих мо-

ментов, как струна звучать – не только одна, но и в гармонии со множеством других. Смысл индивидуального существования темен для каждого; яснее этот смысл для народа, и в нем каждый может отчетливо понимать себя; окончательно ясен он в церкви, и в свете его могут читать себя народы, в них – индивидуумы. Вне этого – темнота, ночь; книга с перемешанными страницами изстриженными, разбросанными. Кто хочет – может собирать их, разгадывать; не к чему требовать внимания к себе других.

Но вот из этих струн некоторые хотели бы и не звучать, или звучать вне согласия с другими, и вместе занимать между ними положение, отвечающее не достоинству струны, но только издаваемого ею звука. К чему это, возможно ли, какой нужде остальных струн, какой нужде, благородной в самой замолкнувшей или дребезжащей струне может это отвечать? Не как физический организм нужен я истории, и было бы унизительно для меня, бессмысленно для нее, если бы было так; но как деятельность некоторая и внутренний ее родник, моя душа – вот что нужно ей, и это как возвышает меня, так и осмысливает ее. Снять эту печать мысли с истории, достоинство с меня, – какая нужда для меня, для кого-нибудь: мы все влечемся именно к этой гармонии, этому слиянию в созвучии, а не к существованию бок о бок, один возле другого. И лишь физический протест нескольких обрывков, которым здесь и теперь, между звучащими, хотелось бы без звука или с звуком бессмысленным быть, – конечно,

этот протест презрен и не может быть принят в какое-либо внимание. Нам говорят о страдании, нам говорят о «свободе»: есть худшее, чем оно, – молчание, есть лучшее, чем она, – мелодия. Кто, видя историю, захотел бы «свободно» смешать ее процессы и, смешав, этим смешением остаться сыт? Конечно, мы все, весь род людской, этого не допустим: страдать нам указал Бог, молчать может принудить только смерть. Мы все природою своею благородною принуждены; мы подзаконны; и как подзаконный тесный брак лучше блуда, мы этот блуд ему не предпочтем.

* * *

Какое низкое понятие о счастье – что оно в сытости, не очень большой усталости и хаотической свободе заключено! Разве нельзя быть счастливым, и гораздо выше, гораздо полнее, при абсолютной стесненности, когда знаешь, что эта стесненность отвечает чему-то великому, нужна тому, что останется и после меня вечно жить? Толпа разбежавшихся дезертиров, инструмент с порванными струнами, огород с поломанным забором, куда идет каждый за нужным себе овощем, неужели, неужели этим только живет человек, это одно, будто бы, ему нужно, одно и выражает, и может удовлетворить его, – что же, изнеможенную уже, – природу? И неужели для этого только он на земле? Всегда для этого, как был прежде, так и останется? Но ведь в виду каких-то опре-

деленных звуков устраивался инструмент, для какой-то цели были собраны разбежавшиеся теперь, и огород насаждался же кем-нибудь и для чего-нибудь? Есть нудящая мысль в истории; ей можем ответить мы и в этом ответе найти высшую для себя радость; если, однако, и не ответим – понудимся, но уже как стадо, гонимое – куда, оно не знает само. Разве в самом хаосе, который один мы почему-то любим, к нему одному влечемся, нет давно уже чего-то принудительного для нас? Кто имеет силы в нем остановиться, как-нибудь ему воспротивиться? Какое ожесточение на лицах всех при мысли, что этот хаос может быть и не вечен, – он, который и на минуту так мало может истинно насытить кого-нибудь. Мы все давно не свободны – в безобразном; быть несвободным в прекрасном – вот что кажется нам ужасно, и самая мысль об этом – антиисторической, преступной…

Какая свобода для общества нашего, которое может всем быть, но с условием – не долго и не скучая? И вообще человеку без творческого родника бьющих в нем сил какая свобода, зачем? Такая же, как для несущегося по ветру песка – свобода вырасти в дерево. Я же говорю, что свобода следует за верою, как тень следует за предметом, которого она есть тень; с нею связана, от нее неотделима; и что за странная фантазия у моих критиков – пустить гулять по свету эти им милые тени, без всяких предметов, к которым они относились бы. Поэтому не «кто кого съест – тот и прав», проповедую я, не борьбу; но только над слабоверием и неверием

победу веры, и ею устроение людей так, чтобы желание самой борьбы, как меньшего и низшего перед гармонией, исчезло. Если я требую чего, имею права требовать, то – гармонизации в истории звуков, этого хочу моею природой не бессмысленной и требую как человек…

Мой критик видит в словах моих непонимание личности, жажду «реакционно» задавить ее свободу; но неужели, неужели когда я говорю личности: сотвори и в творчестве этом своем будь свободна, поверуй и в вере своей ты свята и неприкосновенна – неужели я менее понимаю личность, чту ее и к ней привязываю святую свободу, для меня святую, чем [те], которые толкуют слова, не понимая их смысла, пытаются поднять что-то и не умеют, которые, быть может, и в самом деле думают задавить что-то, но, конечно, никогда ничего не задавят, и только раздавятся сами. В бессмысленное я только ввожу мысль; человека чту не как совокупность ног, рук, праздной головы; этой голове говоря: «подумай», и этим ногам: «перестань ходить в блудилище» – я понимаю личность, они же видят в ней, в людях, в истории только кучи песку, бессмысленно туда и сюда передвигаемого ветром…

О, беднота непонимания… Но в сочетании звуков, гением задуманных, и которым мы внимаем, не хотя в них никакой перемены, чувствуя невозможность этой перемены, – нет разве высшей необходимости? Из того, что ни один смычок не смеет отступить от указанного ему, дрогнуть не там, где нужно, не дрогнуть там, где нужно, – разве мы заключим, что

перед нами сидит оркестр обезьян? Необходимость и непроизвольность – это закон роста растения, но и также закон всего высшего одухотворенного, и как о том мы несомненно знаем, что он определен Богом, так об этом должны заключить, что не человеку, по-видимому свободно его совершающему, он принадлежит, но этому же Богу. И вот почему человек так мало может выйти из этой необходимости; почему Бруно входил на костер; апостолы проповедовали на не изученных ими языках… и много, много столь удивительных явлений в истории, где мы ничего не поймем, приняв человеческую душу за крутимый ветром песок, и все в ней станет нам понятно, если мы различим в ней перст Божий. Укажут на отрицательность многих явлений, их очевидно дурной смысл при явной внутренней необходимости: но что же, мы разве исключим наказание? А если мы признаем его, понятен нам станет бросаемый в нас камень, как и подаваемый хлеб; и град, выбивающий ниву, мы поймем – оттуда же, откуда и благодатный дождь. Злое в истории, преступное, как наглый смех Вольтера, болезненный пафос Руссо – этот камень разве падал не на зараженную ниву? Ей не нужно более быть, время терпения истощилось – и злые жнецы покосили злое. И нет нивы, убраны и жнецы – земля опять свободна для благодатного семени.

Если мы обратим внимание на соотношение этой необходимости со свободою, мы и увидим, что то одно свободно снаружи, что столь необходимо изнутри. Что может быть

необходимее того, что испытывает высокий поэт в моменты творчества: написанное он марает, всяким исходящим звуком недоволен и ищет какого-то одного, и когда его отгадывает – какая светлая радость ложится на его душу! Или Кант, создавая «Критику чистого разума», – разве был так свободен, как профессор, приступающий к теме диссертации и совершенно не знающий, что там написать? О, конечно, этот с такою свободою пишет всякий вздор, с какой летит ворона или санкюлоты раскупоривали бутылки в королевских погребах; и нет этой свободы для творческой души, есть – необходимость и с нею иная святая свобода, с которою за веру, за мысль, за тоску своего сердца люди веков минувших, все и равно Богом посланные люди, не останавливались перед костром и там были радостны, не страшились тюрьмы и там были светлы, и куда бы и когда их ни гнали – всюду были с своим сокровищем и его не утеряли.

Но вот, люди праздные, которым нечего уронить из рук, требуют: «дайте нам эту же свободу». На что? За какую веру? Для какого подвига? Нет внимания к вашему желанию еще и еще «раскупоривать», еще и еще «лететь»; останьтесь здесь – вы и там не нужны; возьмите плуг в руки – вино не для вас заготовлено. Та свобода приходит к кому нужно, и он ее знает, во имя ее поступает; то, что вы называете этим именем, было только плод недоразумения, смешение разнородных вещей, которые, наконец, должны быть разделены.

Мне больно, однако, если бы кто-нибудь так понял мою

мысль, что свобода – лишь тем, великим, на которых сияло солнце истории: самое бедное и узкое в своей мысли существо может быть также исполнено совершенной веры, и в меру его веры ему принадлежит совершенная свобода. Тем принадлежит творчество художества, мысли, – этим творчество самой жизни, не меньшее. Все живет, все движется – верою, и тем выше она знания, тем выше и гения, что доступная равно всем – всех животворит и освещает. В бедном храме молящиеся не ниже всходивших на костер за науку; те и другие равно братья; обоим указаны были одинаково предметы для веры, и как те умерли, эти не отказались бы умереть за свое особенное утверждение; и в нем они не прикосновенны.

* * *

Так мало ожидается от нас, так к малому мы нудимся, так хорошо то, к чему мы нудимся, и мы не хотим этого исполнить… Как широки пути бесстыдного – неужели они привлекают нас? Как узок путь совести – неужели он пугает нас? Неужели свобода бесстыдного – это радость, связанность совестливого – тюрьма, «особо устроенный каземат». Но совесть не моя только, не твоя, не мимо идущего человека, есть в истории, но также и совесть нашего времени, моей страны, народа, к которому я принадлежу. Разве каждый из нас не несет на лице своем обезображения, какое есть в этом вре-

мени, стране, народе; мне оно больно, и, как каждый, я его не хочу, я его вправе не переносить. Ни – в целом народе, стране, времени; ни время, страна, народ – во мне. Мы все братья, истинно, религиозно братья, а не потому, что живем в одном доме, ездим по одной дороге, из одной лавки берем хлеб. То есть все блюдем друг друга, и еще более – друг в друге блюдем один закон. Что говорить о страдании, о возможной тесноте – она радостна, как радостно всякое лишение, которое я переношу для другого: сперва оно больно, и я хотел бы от него уклониться, но когда исполнил – забываю о боли и радуюсь, что не уклонился. Как мало то, что нас пугает, перед великим, что нас ожидает. Свобода испытана нами и оказалась безвкусной: ею пресыщенный, как часто человек сваливается в могилу, предпочитая ее темь и сырость дыханию этой безрадостной пустоты… Итак, без этой ненужной свободы, переплетясь ногами и руками друг с другом, биением одного сердца живущий, снова шумящая листва, на костях древнего Адама поднявшаяся и от Адама до наших дней данный человеку закон почувствовавшая, – это ожидается от человека, к этому, судя по совершившимся и неудавшимся путям, он клонится.

Не для меня одного проговорил Синай, прозвучала Нагорная проповедь, но и для моих – со мною связанного кровно рода людского. Его грех несу я в себе, его наказание чувствую в костях моих; и как свой член болящий ненавижу, здоровый – люблю, ненавижу или люблю всякого человека,

через которого радуюсь или скорблю. Его свободы болеть – нет для меня; как моего права гноиться – нет для него; на иной планете, или на этой же, но по иному закону, чем я, созданный – там только свободен он от меня. Странного права заблудиться, дикого счастья лететь и веять как ветер – ненужно, для бедствия, для радости – этого нет у человека. И растение знает закон свой; животное боится его нарушить; даже камень брошенный, – и тот не смеет забыть свою бедную параболу. Один ли человек брошен в природе без закона? Но вот, поняв себя так, одного себя в природе считая свободным, не себя только, но и самую природу он осквернил беззаконием. Закон – это далекое что-то, что я могу и не признать; что кокетливо клонит к себе мою волю, и эта воля может капризно от него уклониться; и этот каприз именно есть главный закон, которого коснуться не смеют другие, хотя бы и божеские. И не касаемые, в своей темной свободе, мы сходим в землю; и живые между нами, кажется, не живее мертвых; бессильно отвислая челюсть не смеет укусить, боится улыбнуться; и руки опущены, едва дышит грудь; только пищеварение совершается, но горло не глотает, и, кажется, нужно будет сделать фистулу, чтобы как-нибудь, на сколько-нибудь времени поддержать – не жизнь, но бытие – единственно свободного в природе существа. Что ты не идешь, бедный: так много дорог перед тобой; почему не играешь, когда руки не связаны, и задевает, играя, тебя крылом птица, лапой лесной зверь, и все смотрит тебе в глаза, царю своему,

ожидая ответной улыбки на игру, жизнь, радость свою – и не находит…

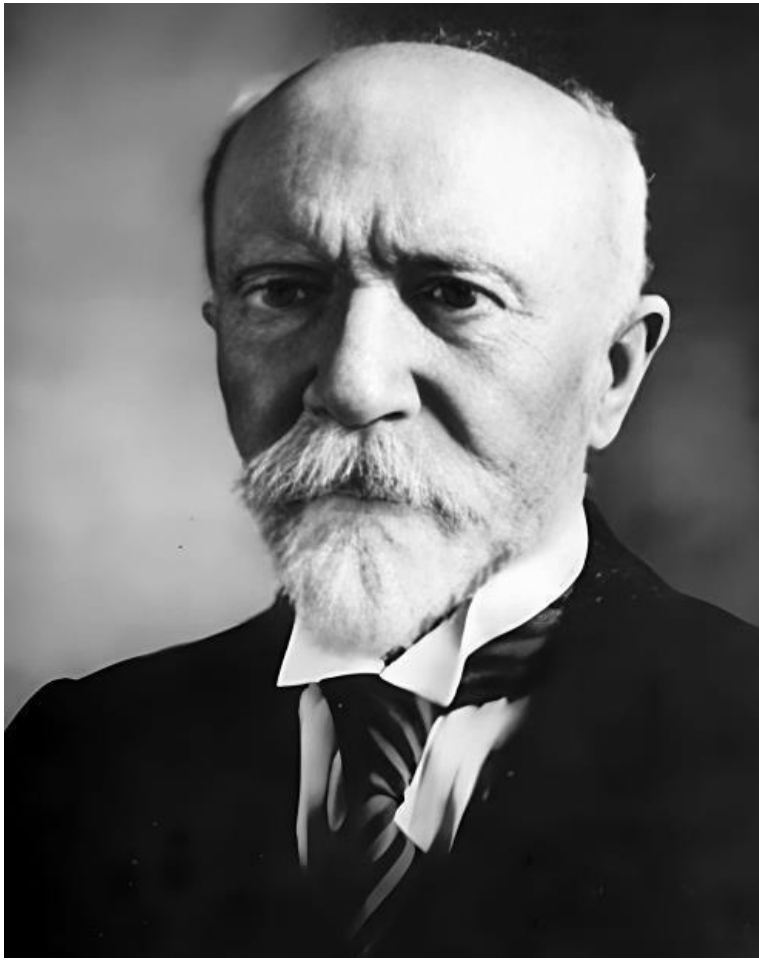
Н.О. Лосский
Достоинства и недостатки русского народа

(из книги «Характер русского народа»)

…Волевой процесс начинается с хотения, желания, влечения, вообще стремления к чему-либо, что для нас ценно. Мы хотим усвоить уже существующую положительную ценность, или сотворить нечто положительно ценное, или устранить какую-либо отрицательную ценность, либо избежать ее. Отсюда ясно, что все наше поведение, все поступки связаны с нашим отношением не только к бытию, но и к ценности его. Поэтому существенно важно отдать себе отчет, имеем ли мы знание о ценностях или, по крайней мере, есть ли у нас сознательные и бессознательные переживания ценности бытия…

Всякое бытие имеет положительную или отрицательную ценность. Видов и свойств бытия есть бесконечное множество; поэтому существует бесконечно много различных ценностей бытия и соответственно им неисчерпаемое множество разнообразных чувств. Несколькими примерами можно показать богатство и разнообразие области чувств. Сюда относятся разные виды удовольствия, неудовольствия, разные

виды страха, например, ужас, жуть, и виды смелости, различные оттенки гнева, печали, радости, восторга, чувства благоговения, умиления, доверия, чувства, входящие в состав властолюбия, зависти, честолюбия и т. п…



Николай Онуфриевич Лосский (1870–1965)
Николай Лосский родился в с. Креславка близ Витебска.

Окончил физико-математический и историко-филологический факультеты Петербургского университета. До революции 1917 года Лосский преподавал в Санкт-Петербургском университете и одновременно на высших Бестужевских курсах. В 1922 году был выслан из России в Германию на так называемом «философском пароходе» в числе других известных русских философов, деятелей науки и культуры, не признавших Советскую власть и не принявших официальную идеологию.

Даже и малозначительные ценности, например, накопление собственности, могут у людей с сильной волей стать предметом всепоглощающей страсти. В истории русского купечества можно найти примеры подчинения всей жизни человека цели обогащения. Эта страсть становится тем более могущественной, что она естественно сочетается с другою страстью, с властолюбием: богатство дает человеку власть над многими людьми и возможность легко удовлетворять свои желания в действительности или в воображении, как это описано в «Скупом рыцаре» Пушкина. Сочетание этих двух страстей обнаруживается в тех печальных явлениях, которые часто встречались в купеческом быту, – в самодурстве и семейном деспотизме. Комедии и драмы Островского живо изображают эту отрицательную сторону русской жизни.

Своеобразное проявление волевой силы русского народа мы находим в казачестве с характерной для казаков лихо-

стью и молодечеством. Понятно поэтому, что сын сибирского казака, художник Суриков, посвятил свой талант преимущественно изображению железной, несгибаемой воли русских людей, проявляемой в строительстве и защите государства («Петр Великий», «Покорение Сибири», «Переход Суворова через Альпы»), но также и в борьбе с государством, в отстаивании свободы своей духовной жизни («Боярыня Морозова»), в перенесении драматических положений («Стрельцы перед казнью», «Меншиков в Сибири»).

Боборыкин в романе «Василий Теркин» говорит, что Теркин при виде великолепной тройки испытал «чисто русское ощущение лихости и молодечества». Гоголь в «Мертвых душах» красноречиво говорит об этом: «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» – его ли душе не любить ее?.. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета… Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?.. Русь, куда же несешься ты? дай ответ».

Русский максимализм и экстремизм в его крайней форме выражен в стихотворении А.К. Толстого.

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,

Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж с плеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

Примеров единолично проявленной силы воли, а также максимализма и экстремизма русских людей можно привести множество. Напомню некоторые из них. Протопоп Аввакум рассказывает в своем «Житии», что он исповедал девицу, которая была «блудному делу и малакии всякой повинна»; при этом «сам жгом огнем блудным», он зажег три свечи и положил правую руку на пламя, «дондеже во мне угасло злое разжение». Вся жизнь Петра Великого представляет собою образец могучей силы воли и экстремизма. Станкевич, наблюдая страстность Белинского, назвал его «неистовым Виссарионом», и эта кличка удержалась за ним. Тургенев говорит о его «стремительном домогательстве истины».

Примером фанатической нетерпимости, до которой могут доходить русские люди под влиянием идеологических разногласий, может служить история отношений К. Аксакова и Белинского. Когда Аксаков сблизился со славянофилами, он при встрече с Белинским заявил, что вследствие их разногласий он более не может посещать его; разрыв этот был тяжел для обеих сторон; они поцеловались со слезами на глазах и расстались навсегда. Сам Белинский говорит о своей

фанатической нетерпимости: «я по натуре жид, не примиряюсь с филистимлянами».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.